

ХРОНИКИ  
ЭРМАТРА



*Виталий Орехов*

ХРОНИКИ  
**ЭРМАТРА**  
*роман*

 ЭТЕРНА

2015

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
О65

*Дизайн обложки Анны Ульяшиной*

**Орехов, Виталий**  
О65 Хроники Эрматра: Роман. – М.: Этерна, 2015. –  
432 с.

ISBN 978-5-480-00355-0

Роман «Хроники Эрматра» больше похож на карту, чем на книгу. Один путь начинается на излете существования Австро-Венгрии, в одном из лучших домов Вены. Другой – в крестьянской избе небольшого уездного села царской России, третий – в аэропорту Рио-де-Жанейро. Дороги переплетаются, прерываются, теряются и находят заново, сливаются в одну, расходятся, уходят в тупик. Какой-то путь станет магистральным шоссе, какой-то – приведет к обрыву. Единственное, что нужно, – иметь карту. Но, к счастью, у некоторых она есть...

Увлекательное чтение, интеллектуальный поединок, захватывающий сюжет, роман «Хроники Эрматра» будет интересен всем любителям качественной прозы.

**УДК 821.161.1**  
**ББК 84(2Рос=Рус)6-44**

© В. Орехов, 2015  
© ООО «Издательство «Этерна»,  
подготовка к изданию, 2015

ISBN 978-5-480-00355-0

ПРИЧИНА ТРЕТЬЕЙ ПУНИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ В ТОМ,  
ЧТО ВОПРОКИ УСЛОВИЮ ДОГОВОРА  
КАРФАГЕНЯНЕ ПОДГОТОВИЛИ ФЛОТ И ВОЙСКО  
ПРОТИВ НУМИДИЙЦЕВ. ИХ ЦАРЬ МАСИНИССА  
НАСТОЙЧИВО УСТРАИВАЛ ПРОВОКАЦИИ НА ГРАНИЦАХ  
С КАРФАГЕНОМ, НО К НЕМУ БЛАГОВОЛИЛИ РИМЛЯНЕ.  
ВСЯКИЙ РАЗ, КОГДА РЕШАЛИ ВОПРОС О ВОЙНЕ  
И ДАЖЕ КОГДА СОВЕЩАЛИСЬ О ЧЕМ-ЛИБО ДРУГОМ,  
КАТОН С НЕПРИМИРИМОЙ НЕНАВИСТЬЮ ПРОВОЗГЛАШАЛ:  
«КАРФАГЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН».  
В ПРОТИВОВЕС ЕМУ ПОНТИФИК ПУБЛИЙ НАЗИКА  
СЕРАПИОН УТВЕРЖДАЛ, ЧТО ГОРОД  
ДОЛЖЕН БЫТЬ СОХРАНЕН,  
ПОТОМУ ЧТО С УСТРАНЕНИЕМ СТРАХА  
ПЕРЕД ГОРОДОМ-СОПЕРНИКОМ —  
СЧАСТЬЕ СТАЛО БЫ ЧРЕЗМЕРНЫМ.

*Луций Анней Флор, «Эпитомы»*

ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ ТАК МНОГО ВЕЩЕЙ,  
ЧТОБЫ ДВА ЧЕЛОВЕКА МОГЛИ ВСТРЕТИТЬСЯ.

*Гильермо Арриага, «21 грамм»*



# ПРОЛОГ

(СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ)





# 212 ВС

Да. Время еще было. Перед последним закатом солнце еще светило ярко, высоко над горизонтом, оно уверенно катилось за его дальнюю недостижимую линию. На пороге дома сидел ученый и думал о решении бесконечно сложной задачи расчета парабол небесных светил. Необходимо было учесть тригонометрию момента. Это должно было стать последней частью уравнения. Уравнения... Надо было успеть провести подготовительные расчеты до заката, заточить инструмент для того, чтобы не пропустить момент наступления ночи. Ему было семьдесят пять лет, и за свою жизнь он сделал больше, чем сделали все до него, и больше, чем сделают люди на протяжении следующих двух тысяч лет. Он уже давно знал, что истины нет, что вселенная эфемерна и подчиняется законам, которые не суждено понять ни одному смертному человеку во всем мире. Единственное, что бессмертно, – идея. В отличие от своего двоюродного брата – царя, уверенного в силе оружия и политики, – он был уверен только в том, что все, чем он занимался всю свою жизнь, не будет бессмысленно.

Он жил в последнюю эпоху великого времени и знал больше, чем можно было себе представить. Он был знаком со светилами науки и философии, он помнил царей, диктаторов, тиранов и демократов, он знал, что такое ход истории. Он посвятил свою жизнь гораздо более значимому делу. Он знал, что имя его брата навсегда забудется, как забылись имена его деда, и деда его деда, и многих сотен других людей, ставших властителями. Его же будут помнить всегда.

Но за время его жизни слишком многое изменилось. Великая империя, культом которой было оружие и порядок, только поднималась, ее солнце только всходило на небосклоне истории, чтобы сиять на нем от скромного восхода до позорного заката более тысячи лет, а потом еще тысячу лет блистать своим ватиканским отражением.

Ученый же думал сейчас только о том, как провести небесный арктангенс в системе зенита. Еще давным-давно, когда он обучался у другого астронома, он научился сосредотачиваться на конкретном деле, не обращая внимания на ход Солнечного огня, на происходящее вокруг, на все, что было вне ученого и его задачи. Позже люди навсегда утратят эту способность концентрации, которая столь много подарила человечеству. Тот астроном говорил своему ученику:

– Только так, сын мой, можно решать задачи. В вечном и праздном любопытстве Урания не откроет тебе своих тайн. С ней и вообще со всякою наукой следует быть деликатным, как с женщиной, и упорным, как с ретивым жеребцом, иначе бы наши предки никогда не предсказали ход светил, никогда бы не рассчитали стадии Земли, никогда бы не открыли тайну числа. Науку надо любить, Архимидис, только ученому, истинно полюбившему науку, открывается она.

С каким замороженным любопытством слушал тогда молодой ученый слова старца! Ученику суждено было пре-  
взойти его в своем величии. Но своего учителя он не забыл.

Сейчас в городе бесчинствовали солдаты будущего оску-  
дения науки и культуры, солдаты будущего ничтожества че-  
ловеческой цивилизации, служители сената и народа, меча  
и крови. Но ученому было все равно. Он думал только о  
решении задачи, как учил его старец.

– Хозяин, нам следует укрыться, враги на подходе. –  
Слуга ученого был единственным, оставшимся в его доме,  
остальные бежали в страхе перед мощью врага. А ведь  
именно благодаря ученому и его чуждым творениям столь  
долго не могла армия взять город. Город ученого обходили  
стороной. Говорили, ученый знает магию и ведунство, го-  
ворили, ему открыто будущее и прошлое, рассказывали,  
как сами цари приходили к нему на поклон, чтобы он слу-  
жил их государству. Но ученый остался в своем родном  
городе.

Уже после смерти астронома он отправился на Восток.  
В великой стране Востока он надеялся постичь мудрость  
древних. Там он встретил тех, с кем переписывался до  
конца жизни, – великих хранителей тайн мира. Открыв для  
себя тайны астрономии, стереометрии, мистики и матема-  
тики, он решил до конца жизни служить этому великому ис-  
кусству, во имя любви к науке и во имя любви к будущему  
человечества. Он знал, что пройдут века, десятки темных  
столетий, прежде чем его дело будет продолжено. Он знал,  
что он не будет последним.

– Хозяин, скоро нас казнят, если мы не спрячемся. Пой-  
демте! Я знаю, как тайно покинуть город.

Ученому незачем было скрываться. Последний день его  
жизни станет последним днем золотого века открытий и  
прозрения, времени, когда природа перестала быть чем-то

столь непонятным, столь божественно-пугающим. Но все заканчивается.

– Я не пойду, друг мой, – впервые ученый назвал слугу другом, – а ты беги, ты свободен. Сегодня последний день.

– Тогда я останусь с вами, – ответил слуга.

– Хорошо, принеси мне стилус и мои приборы, возможно, они мне понадобятся. Сегодня удивительно яркое солнце, если получится, мне удастся посчитать, сколько стадий до Великого огня имеют значение для уравнения.

Слуга ушел, но тень, простиравшаяся над ученым, не исчезла.

– Ты уже здесь? – не отрываясь от дел, спросил ученый. Он знал, кто это.

– Центурион дал приказ казнить всех, кто поддерживал царя, – грубо, на наречии, на котором слово «война» звучит с любовным придыханием, а «красота» – воинственно жестоко, ответил солдат.

– Не тронь мои круги, солдат... – чуть погодя сказал ученый и зачеркнул чертой знак возведения, – значит, ты пришел убить меня? – спросил ученый на этом же наречии. Дома он всегда говорил на языке культуры.

– Пришел, – ответил солдат.

Ученый взглянул на него.

– Погоди и одумайся, солдат. Я близок к решению задачи, над которой будут биться тысячи лет. Это столько же лет, сколько мужчин в твоём легионе. Я ее могу решить сегодня. Только ты не должен мне мешать.

– Центурион дал приказ казнить.

– Что твой центурион? – спросил ученый и поднялся. – Вчера я, можешь считать, справлялся у духов людей, о которых ты даже представления не имеешь! Вчера, только вчера, я сделал для мира больше, чем все ваши легионы сделали до сегодняшнего дня и сделают позже. Твой центу-

рион, я слышал о нем... Не Марк ли это Клавдий? Он умный человек, и если он узнает, что ты убил меня, ты будешь наказан и с позором изгнан из твоей республики. Вы ведь пока демократы?

– Я не знаю, что такое «демократы». Я знаю, что я должен казнить всех, кто поддерживал царя.

Ученый посмотрел на солнце. Расстояние до Великого огня идеально. Он закрыл руками лицо, тень вытянулась до бесконечности. Какое-то время они оба стояли друг напротив друга и молчали. Солнце опустилось чуть ниже. Время идеального расчета прошло.

– Тогда казни, – спокойно сказал солдату ученый. – Казни. Но знай, тебя будут проклинать тысячи и сотни тысяч твоих потомков. Ты и такие, как ты, прольете реки крови, уничтожите еще сотни городов, казните много великих людей, потом вы станете казнить самих себя, потому что северные полулюди-полузвери не дадут вам себя подчинить. Они же уничтожат вас, они уничтожат твоих потомков, если ты сейчас убьешь меня. И это будет повторяться несчетное количество раз. Но даже когда вы будете в зените своего могущества, вы не дадите этой вселенной ничего, кроме искусства убивать. Вас будут видеть в качестве примера самые ужасные люди этого мира, и они будут вами восхищаться. Вы придумаете сотни оправданий убийствам, первыми придумаете, как солдатскую честь сделать важнее чести человека. Но больше вы не сделаете ничего. – Ученый дотронулся до щита солдата. Тот отпрянул. – Вы ничтожная и несчастная раса. Таких, как ты, будут тьмы и тьмы, но и вы не вечны... На смену вам придут другие. Надолго, очень надолго вы погрузите мир в хаос, от которого мы с таким трудом его вычищали... Казни меня, но знай: пролив мою кровь, ты станешь символом конца великого мира.

## **ХРОНИКИ** ЭРМАТРА

– Мне приказал центурион! – закричал солдат.

Он занес меч над ученым и пронзил его грудь. Умирая, ученый произнес лишь: «Мир ваш, солдаты. Очень-очень надолго».

Солнце закатилось.



**А**тмосферный фронт прочертил линию ровно посередине неба. Полнеба – темная ночь, только звезды сияют на небосклоне, полнеба – грозовые тучи. Примерно над точкой куспида проходит четкая граница, из-за разницы атмосферного давления грозовые облака клубятся и бьются, но не могут пробиться сквозь этот фронт. Тучи над головой и ясное звездное небо спереди. Так бывает очень редко.

На летном поле, наэлектризованном озоном молний, стоит новый «Фалькон» синего, сапфирного, цвета. Два турбореактивных двигателя окрашены в черный. Крылья изменяемой геометрии сложены в правильную трапецию. Это экспериментальная машина, шестого поколения. К высокому человеку у самолета подходит другой, темнокожий коротко подстриженный мужчина. Он выглядел на сорок пять, хотя был на треть старше. Человеку у самолета нет и тридцати. Когда он приближается к нему, молодой встает по стойке «смирно» и отдает честь.

– Вольно, Бен, – молодой принял стойку «вольно», – оставь это.

– Полковник Макферсон, сэр, мы полетим в такую погоду? – Бен показывает зажатым в руке гермошлемом белого цвета в сторону грозового фронта.

– Мы полетим в такую погоду, Бен. Больше такого шанса не представится, штаб настаивает.

– Разница давлений?

– Разница давлений.

Бен понимающе смотрит на полковника. Если фюзеляж выдержит переход из зоны высокого давления в зону низкого на той скорости, на которой они хотят пройти через фронт, то сплав, из которого изготовлен материал самолета, можно будет использовать для проекта «Вэкил».

– Штаб дает указание, – оба смотрят на диспетчерскую вышку, сияющую, как маяк в ночи, – садиться в машину.

Бен видит, как полковник Макферсон не моргая смотрит на вышку. По выражению Макферсона было понятно, что по радиации передают что-то в гарнитуру в ухе у полковника, слов Бену не разобрать. Бен садится в самолет. На поле никого нет, дежурный комендант приказал оставить взлетно-посадочную полосу, поле пусто. Только две фигуры, как тени, в синей ночи. Только системы зажигания «Фалькона» загораются синим цветом.

– Полковник, разрешите личный вопрос?

– Валяй, Бен, сегодня можно.

– Где вы потеряли глаз?

Полковник в упор смотрит на Бена:

– Как ты?.. Мой нейроимплант, его не отличить от человеческого глаза.

– Я вижу это, сэр. Не бойтесь, это незаметно.

– В Турции, сынок.

– Но вам было тогда около двадцати лет?

– Двадцать один. Мой первый боевой вылет. Осколки шли волной в несколько километров. Я слишком поздно



развернул машину. Сегодня ты должен выполнить именно этот маневр.

– Разумеется, сэр.

– Бен, можно и я задам тебе вопрос? Кто твой отец?

– Я... Я не знал его...

– Извини.

Две фигуры садятся в самолет.

Две фигуры в кабине машиниста поезда стоят неподвижно. Они смотрят вперед, в ветровое стекло паровоза, который движется на скорости 130 миль в час по пустыням штата Канзас. Весь состав – только паровоз и телеметрический вагон. В пустыне ночью холодно, но от паровоза идет жар, он несется стрелой сквозь ночную мглу. В округе никого нет, но машинист Эндрю Ласуэлл дает на всякий случай гудок после каждых десяти двухмильных столбов. Марта смотрит вдаль.

Иногда она отводит взгляд на приборную панель, чтобы убедиться, что поезд не сбавляет тягу. В кабине оборудованы два стола, на одном из них разложены химические формулы и выведены реакции горения, на другом – чертежи всего отрезка. Поезд должен проехать не менее 125 миль в час на протяжении 98 процентов пути и не менее 130 миль в час – 90 процентов. Это жизненно необходимо, иначе исследования присадок из стронция-90 для угольного топлива будут закрыты, а вместе с ними и перечеркнуты два года исследований. В телеметрическом вагоне установлено автоматическое оборудование, которое фиксирует преодоление определенных точек на пути. Но выдержать должен не только локомотив, но и рельсы. Эндрю Ласуэлл смотрит вдаль, и Марта знает, о чем он думает: впереди мост Вашингтона. Его пока не видно, но он должен появиться через 20 миль на горизонте.

– Этот мост построен в начале XIX века, он вообще планировался для конок.

– Я знаю. – Марта не отводит взгляда.

– Если мы не снизим скорость хотя бы на треть, мы уда-  
рим по нему, как молотом по наковальне. В тот момент,  
когда колеса пройдут температурные швы в начале моста,  
у него вылетят все заклепки.

– Нет, Эндрю, не вылетят, поверь мне. Держи скорость.

– Вышка, я «Фалькон», набираю высоту... Черт возь-  
ми! – Бен взглянул через стекло кокпита вправо. – Вы  
видели?

На фоне ясного летнего неба из грозовых туч рванула  
молния. Она белой прожилкой вырисовалась на фоне звезд,  
будто бы соединив, как в детской рисовалке, самые важные  
точки.

– Да, Бен, – гроза, – в гермошлеме звучал искаженный  
дистанцией и частотой голос диспетчера.

– Но тебе ведь к этому не привыкать, – сказал полков-  
ник Макферсон сзади Бену почти на ухо.

– Штаб считает, что это хорошо, – опять голос в гермо-  
шлеме, – мы проведем испытание нового сплава не только  
на переход барьерного давления, но и на электролитиче-  
ское воздействие. Продолжать испытание.

– Есть.

Молча Бен потянул на себя штурвал самолета, светяще-  
гося антрацитовым блеском в свете молний. Красный огонь  
из турбин резко изменил цвет на лиловый, и самолет взмыл  
в самую гущу облаков.

– Настраиваю приборы на стабилизацию изображения.

Компьютерная голограмма выстроила изображение на  
приборном визире, и облака пропали, появились очертания  
местности, все, вплоть до мельчайшей детали. Бен посмот-  
рел вправо и влево – вокруг была непроглядная темень туч.  
Где-то вдали громыхали молнии. Визир показывал «ясно»,  
как в безоблачную лунную погоду.

– Ну что, навертелся головой? – Голос полковника Макферсона тоже казался искаженным из-за гермошлема. – Приступить к выполнению учебного задания.

– Есть, сэр.

Бен перевел управление на себя и стал набирать скорость.

Огромная аудитория. Кажется, на столе газета. Написано что-то новым готическим шрифтом. Первые две цифры даты – 18. Две последние цифры не видно, их закрыла «Книга лемм» Архимеда, первый перевод на немецкий. Пустая аудитория, весь свет – от двух свечей на столе в самом низу студенческого амфитеатра. Это потоковая аудитория университета. Свет падает на книгу и тетрадь, исписанную размашистым и некрасивым почерком. Для тех, кто разбирается в графологии, очевидно, что это почерк гения. В аудитории, а может, и во всем здании, никого нет, для этого человека нет никого вообще. Он сидит, в потертом пиджаке, круглых очках, смотрит прямо перед собой, губы шевелятся почти беззвучно.

– Метафизическая природа логики напрашивается на единственно верный вывод о непротиворечивости всего возможного и настоящего. Заставляет императивно видеть только единственную истину в истоке возможностей и реализовывать ее в соответствии с правилами постижения окружающего...

Параллельно он записывает что-то в тетрадь; когда он пишет, нелепо сокращая, он молчит, губы его почти не шевелятся. Записав что-то, переворачивает страницу. На следующей странице – расчеты. Он знает, что до него так никто не считал. Если посмотреть в его глаза – вы не увидите в них присутствия, он сейчас с Платоном и Бергсоном обсуждает строение мира.

...только истинное осознание бытия может дать энергию жизни, энергию движения, которое не необходимо, но

естественно сопровождает существование каждого атома во вселенной. Эта энергия непознаваема, но ощущаема, как ощущается момент времени. Время, задеваемое сознанием, не изменяет своего хода, оно стремится к продолжению, и в этом – следствие энергетического импульса метафизического характера. Недопустимо избегать осознания этого импульса при продолжении гносеологии, недопустимо...

– Недопустимо снижать скорость, Эндрю, поверь мне.

Впереди возвышался мост – великое строение великой эпохи созидания. Безоблачное небо над головой и поезд, побивший мировой рекорд на коротком участке, но пока отстающий на длинном, рвущийся навстречу обрыву, через который этот мост был проложен.

– Я все рассчитала тысячу раз. Мы разработали новые алгоритмы для исчисления сопротивления материала на таких скоростях. Раньше они применялись только для теоретического исчисления сопротивления в воздухе. Мы переложили их на землю. Мы спустили математику на землю, Эндрю, и все для того, чтобы эти присадки запустили в производство: если у нас получится, вы станете самым знаменитым машинистом в стране, мистер Ласуэлл.

Марта заметила, как рука Ласуэлла тянется к дросселю.

– Не вздумай снижать! – крикнула она и почти накинута на его руку. Рука Ласуэлла застыла.

– Я и не думал, мисс Иффэ, – и потянул рычаг в сторону от себя.

Скорость поезда росла на спидометре: 130 миль в час, 140 миль, 142, мост неотвратно приближался с невероятной скоростью навстречу локомотиву, скорость 142 мили в час, 143, скорость 144 мили в час.

– Скорость 5 М. Вывожу на обратную стреловидность.

«Фалькон» пролетал вдоль кромки грозового фронта со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. Огонь турбин сжигал тучи позади машины.

– Выполняй.

Бен изменил параметр, и «Фалькон» расправил крылья. Навстречу воздуху и ионам, разрывающим материю атмосферы, летел самолет с расправленными крыльями, направленными в сторону неизвестности. «Какое же это красивое зрелище!» – пронеслось у него в голове. Капли дождя не успевали падать на фюзеляж, машина пронеслась с невероятной скоростью мимо материи, формирующей реальность.

– Если материя формирует реальность, то осознание этого импульса должно находиться в трансцендентальном положении относительно реальности.

Человек в потертом пиджаке и круглых очках убрал пот со лба.

– Об это спотыкались Пирс и Скэнворд. Они не смогли вплести Бергсонову жизнь, импульс, в материю своей метафизики. Она была мертва, и они обходили это. Их трансцендентность иллюзорна, но гармонично выстроена. Как гармонично выстроенная модель вселенной и ее осознания может допускать такую ошибку в своей основе? Диалектически к ней не подступиться, а если действовать с точки зрения индукционных механизмов...

– ...то необходимо метафизически сверять разумное с энергией.

– Что?

– Извините, мисс Иффэ, просто я очень напряжен, мне кажется, скорость слишком...

– Не снижай!

Пар оставался далеко позади паровоза марки «Мэлорд». Никогда еще никто в этой пустыне не пронесился на такой скорости мимо вековых скал, выветриваемых столе-

тиями. Никогда еще ничто рукотворное не достигало такой скорости на земле.

– Я чувствую, как бьется мое сердце.

– Это мое, Эндрю.

Мост надвигался с невероятной скоростью. Марта взяла карандаш и быстро подсчитала на схеме:

– Мы едем со скоростью половины скорости свободного падения из тропосферы. Не снижать скорость, мистер Ласуэлл! Мы переедем его.

– 7 М. 8 М. 9 М.

«Фалькон» совершил огромный круговой полет по кромке грозового фронта и теперь вновь выходил в начало своего пути.

– 10 М. 11. 12.

Уже было тяжело, стабилизаторы не помогали.

– 13.

«Фалькон» был нацелен прямо на область давления и бесконечного ясного неба.

Энергия продолжала вырываться из турбин самолета, он несся на невысказанной скорости. Энергия пропитывала каждый атом тела Бена и Макферсона, как она пропитывает каждый атом во вселенной. И именно этот импульс обеспечивает движение жизни, нарушение противоречия, которого не должно быть в этой модели. Уравнение должно быть решено, тут не может быть ошибки, эта модель идеальна, но в ней нет движения.

– Модель моста никогда не была идеальной, он горел во время засухи десять лет назад...

– Держать скорость! – Иффэ закричала на Ласуэлла. – Держать скорость! Держись, Бен! – Иффэ шепнула на ухо Бену, когда крылья «Фалькона» полностью расправились и конус носа самолета заострился: механизм срабатывал при достижении критических скоростей.

«И если эта энергия будет продолжать действовать, – человек в старом пиджаке говорил про себя, выводя сверхсложные формулы в блокноте, – как она действует в каждый момент времени, нет, каждого времени, то все должно происходить...»

Невозможно контролировать столько процессов одновременно, справа, как в зеркале, в стекле кокпита виден поезд, едущий навстречу своей гибели, слева – сходящий с ума философ. И это все. Этого никто не может, кроме него. «Соберись, ты можешь», – сказал Бен себе и Марте.

«...если эта энергия будет продолжать действовать, как она действует в каждый момент каждого времени, то все должно происходить...»

– Иффэ, температурные швы. Сейчас!

– Сейчас, Бен!

«...то все должно происходить...»

– Я понял! – Он вскакивает. – То все должно происходить... правильно! Одновременно можно просчитать каждый процесс каждого события. Рождения и смерти, старение, умирание, воскрешение – все это происходит в мире только тогда, когда это правильно. Развитие – правильно. Развитие – одновременно.

Передние колеса локомотива с невероятной мощностью ударяют по рельсам, начинающимся на мосту, поезд вздрагивает, время останавливается, когда «Фалькон» вырывается из бесконечной пелены облаков на скорости 20 000 км/ч в безоблачное пространство.

– Я поняла... Все это очень... правильно, – говорит Иффэ.

Поезд на скорости 140 миль в час с грохотом проезжает мост Вашингтона. Для Иффэ и Ласуэлла самым долгим был момент удара со швом, для стороннего наблюдателя все это произошло в одно мгновение: когда пришло осознание, что

«Фалькон» не рухнет в области изменившегося давления, «Мэлорд» был уже на другой стороне обрыва. «Фалькон» летел в сторону загорающегося рассвета на горизонте. Где-то позади ревели турбины и сверкали молнии.

– Молодец, Бен! – Полковник Макферсон похлопал Бена по плечу.

– Молодец, Бен... – человек в темной аудитории шепнул это беззвучно, только губами, будто он прочитал это в книге. Он смотрел перед собой невидящим взглядом. Перо его выпало из ладони. Уравнение, написанное свежими чернилами, впервые было создано в этом мире. Губы Фраппанта, первого философа, беззвучно шептали: «Уравнение должно быть решено. Уравнение может быть решено».



# ЧАСТЬ I

(ЧИСЛИТЕЛЬ)



# 1885

**В** 1885-м Джон Лэйдж был вторым советником посла США в Белграде. Неофициальная помощь американского правительства молодому славянскому государству выражалась, в общем, довольно странным способом, заключающимся большей частью в каких-то странных денежных подачках каким-то странным людям. Королевство Обреновичей было жалкой пародией на западные монархии, давно ставшие республиками, и еще более смешной попыткой создать славянско-православное государство, каким была Россия. Пороховой бочкой стали Балканы в это время, их постоянно трясло, кто-то подносил и уносил зажженный фитиль, а послы всех стран всеми силами пытались затушить постоянно разгоравшееся пламя. Бессмысленная Сербско-Болгарская война, оставившая шрамы, так и не зажившие на всем полуострове, постоянно напоминала о себе. Казалось, посольство было единственной точкой стабильности во всем государстве, хотя государством в том смысле, какой американцы вкладывают в слово State, Сербию назвать было сложно.

– Вы ведь понимаете, что это болевая точка, экселенц, и она не заживет?

– Понимаю, мистер Фраппант, но я ничего не могу сделать. Департамент Государства настаивает на спонсировании этих людей.

– Хорошо.

– Что?

– Что вы это понимаете.

Хотя, конечно, ничего хорошего в том, что делал Лэйдж, не было. Он передавал доллары и золото, для Штатов ничтожные, неизвестным группам в стране – тем, кому указывали ему люди из Вашингтона. Так посольство оказалось впутанным в череду неудач, связанную со строительством Вршацкой железной дороги. Той самой, по которой более чем через сто лет будут раз в две недели пускать Danube Express. Имя посла мелькало на страницах сербских газет, которые только в посольствах и читали, пара чиновников в Белграде потеряли работу. Дело вышло, первую колею проложили, до второй дело не дошло, началась очередная Балканская война. К тому времени Лэйдж уже перебрался в Гринвуд, где получил советника Республиканской палаты Штата. Посольство в Сербии, как и война против северян, не помогло состряпать ему карьеру, о которой мечтал его отец. Но тогда Лэйдж не унывал. Воплощая в себе пассионарность американского гражданина, он старался не отставать от времени, но и вперед не напрашиваться. Этому его научила еще матушка.

В Сербии же он познакомился с Александром Меншиковым, бывшим старшим посланником русской миссии.

Александр Петрович Меншиков родился в 1845 году в богатой русской помещичьей семье. Отец его служил еще при Александре и в 1834 году женился на Марье Игнатьевне Семеновой, дворянке из миллионщиков. В приданое полу-

чил 150 тысяч и две деревни общим счетом в 4 тысячи душ. Но, несмотря на все это, женился исключительно по любви, как редко бывало среди богатых, а Петр Меншиков был очень богат, даже для родовитых дворян Москвы. Александру Даниловичу Меншикову он родственником не приходился ни в коей мере, во всяком случае он утверждал так. После женитьбы у Меншиковых родилось трое детей: сыновья Миша и Саша и дочь Ольга. Оба сына сделали военную карьеру. Михаил Меншиков, хоть и был однофамильцем Меншикова Крымского, но в Крымской войне участвовал лейтенантом и особых заслуг за собой не оставил, как и его более именитый однофамилец. Ольга вышла замуж за молодого дипломата, когда ей не было и девятнадцати. Александр, пехотный майор, участвовал и в Балканской и в Турецкой кампании и даже покорял Среднюю Азию. В Бухарском Эмирате, командующий легким дивизионом, он наголову разбил туземные войска, что, конечно, было не его заслугой, но абсолютно логичным стечением обстоятельств – в высшей степени странно, если бы вышло наоборот. В свое время он был избран предводителем дворянства Калужской губернии. Его решающий голос почти дал ход конституционной реформе в России, но 1 марта 1881 года император Александр II был убит. Обстоятельства сложились другим образом.

Позже Меншиков уехал на Балканы. Больше из любопытства. Меншиков догадывался, что вскорости это место станет не болевой точкой, о которой говорил ему Лэйдж, а бикфордовым шнуром для всего мира. Понимая особую важность момента, он между тем ничего не сделал для того, чтобы предотвратить ситуацию. Меншиков знал, что ни американский посол, ни российский, ни французский ничего сделать не смогут. В отличие от Лэйджа, он воплотил не пассионарность, а типичное, свойственное только

русскому интеллигентствующему интеллектуалу, безразличие. Лет через 30 он откажется от него, поскольку станет жертвой событий, которых, в силу своей пассивности, предвидеть не мог, и окажется рьяным сторонником одной из бесчисленных идеологий, что будет означать не что иное, как его духовную и интеллектуальную смерть, поскольку нет ничего хуже для зарождающегося гения, как стать фанатиком чего-либо. Фраппант никогда не встречался с Александром Меншиковым, он знал, что его ожидает. А вот с Лэйджем Меншиков встречался очень часто. Они сошлись на почве нелюбви к активным действиям, это их объединяло, несмотря на совершенно различные причины этой нелюбви. Позже они, тогда лишь сотрудники посольства, дружили до конца жизни. У них было все же много общего.

Лэйдж передавал американские деньги тем людям, которых называли в шифрограммах из Вашингтона. Это были и цыгане, и румыны, и албанцы, иногда сербы, но все они не заслуживали доверия. Лэйдж не видел ни причины своих действий, ни их последствий, он был чистой функцией государства. И ему это нравилось. Однажды, когда Фраппант выходил от посла, Лэйдж увидел его светлую голову, он спрашивал у секретаря, кто это, и ему ответили, что очень высокий чиновник в правительстве небольшого государства Эрматр. Больше в посольстве Лэйдж его не видел.

Деньги передавались в небольших кейсах, тогда это только входило в моду: в чемоданы, приспособленные для перевозки вещей, набивать деньги и отдавать их доверенному лицу. Как правило, доверенное лицо не пересчитывало купюры, а сразу брало их и, дыша перегаром, уходило в сторону от посредника. Лэйдж и был тем посредником, который оказывал помощь молодому славянскому государству.

Особого понимания, почему он должен был встречаться с этими людьми под покровом ночи в старом заброшенном

монастыре, втайне от белградской жандармерии, у него не было и быть не могло. Это прекрасно понимал только посол, но он никогда не давал объяснений на этот счет, и в дипкорпусе возникло подозрение, что, возможно, он и сам не знает.

Дважды Лэйджа чуть не поймали. Первый раз его спасло тупое везение: когда он передавал очередную партию человеку, выглядевшему не лучше, чем самый последний оборванец на улицах Гринвуда, откуда Лэйдж был родом, его заметил человек с ружьем, возвращавшийся, очевидно, с вечерней охоты. Лэйдж видел, как человек, как и всякий простой представитель народа, страшась всего неизвестного, взвел курок и начал медленно идти Лэйджу навстречу. Но его собака залаяла и побежала куда-то в сторону, человек побежал за ней, а в это время оба участника передачи денег скрылись.

А вот второй раз был серьезнее. Лэйдж немного опоздал на встречу, до этого самого момента пунктуальность не была его сильной чертой, и когда он пришел к месту у заброшенного монастыря, он увидел, что тот, кого в шифровках звали «Радко», не появился. Он ожидал какое-то время, прислонившись к стене монастыря. Пока он ждал, он не придавал значения шуму шагов снаружи. Когда же он понял, что это за шаги, он ринулся бежать, чем только усугубил свое положение. На подобные встречи было запрещено брать с собой документы из посольства. В случае провала, которых быть не должно, необходимо было представиться туристом – любителем древностей, легенда была придумана, очевидно, для протокола, она ни разу не применялась. Лэйдж от неожиданности – а увидел он не что иное, как взвод шинелей городской жандармерии, – ринулся бежать. Естественный рефлекс сработал и у солдат: они, увидев движущийся объект в сторону, противоположную их направлению, побежали за ним.

У Лэйджа за спиной была кадетская подготовка и даже служба в войсках Конфедерации, но за долгие годы канцелярской работы физическая его нагрузка падала обратно пропорционально скорости появления одышки при ходьбе. Поэтому бежал он по темным городским кварталам с трудом. Самое сложное было не выронить кейс с деньгами, потому что, если жандармам вздумается проверить саквояж туриста, они будут очень удивлены, увидев там свеженькие, как салат на завтрак, американские банкноты. По окраинам бежать было легко, большие семьи из небольших домов легли спать уже с закатом, а вот в центре города жизнь кипела. Народы всех национальностей полиэтнических Балкан напивались допьяна, дрались и пели громкие песни. Это был мир люмпена в самом марксистском понимании этого слова.

Лэйдж бежал, но понимал, что следующий квартал ему не пройти, слишком много народа: укрыться в толпе ему, в его новом костюме английского покроя, будет сложнее, чем родинке на подбородке его жены, а сдача жандармам не сулила ничего хорошего. Он бежал до определенного момента, пока не увидел открытую дверь в переулке, а рядом стоящего и курящего того самого чиновника из кабинета посла, некое «высокое лицо» из далекого Эрматра. Он смотрел на свои золотые часы на цепочке и в тот самый момент, когда Лэйдж завернул за угол, закрыл их и сказал ему так, что слышал только он:

– Мистер Лэйдж, давайте чемодан, я передам его Радко.

– Кто вы? – спросил запыхавшийся Джон Лэйдж.

– У нас нет на это времени. Два варианта: либо вы отдаете чемодан мне, я передаю его Радко, а вы завтра скажете послу, что отдали его Радко в монастыре, либо я сдаю вас жандармам. Думать времени нет, они сейчас вас нагонят, и вы уже знаете, как вы поступите.



В этот момент Лэйдж стоял как вкопанный, Фраппант протянул руку к чемодану, рука Лэйджа безвольно разжалась, он взял его, открыл дверь, в проем которой впихнул Лэйджа, дал свои часы, белую бумажку, на которой было написано «Сидите здесь 5 минут», и вышел с чемоданом на главную площадь.

Лэйдж вышел через два часа, когда даже центр рыночно-базарного, пьяно-гулящего Белграда заснул. Он никому ничего не сказал, а на следующее утро, гладковыбритый, был на работе. Как ему и было велено, он сказал, что передал чемодан Радко. Больше его на такие задания не посылали, объяснив это тем, что закончилось его «дежурство», а через три месяца закончилась и его командировка, и он вернулся в Гринвуд. Больше Лэйдж никуда и никогда не опаздывал. Если выразаться буквально.

# 1888

**В** классах, как всегда, шумно. Мальчики бегали туда-сюда, до уроков еще около пяти минут, и это время грех было не использовать, чтобы порезвиться. В школы царского времени учиться стали приходить не только дети дворян и мещан, во многих случаях занимавшиеся отдельно друг от друга, но и крестьянские детишки, которые, в большинстве своем, учиться хотели, поскольку это освобождало их хоть на некоторое время от рабства крестьянского труда. Безусловно, в силу природы своей, дети крестьян не блистали знаниями, но были и исключения. Одним из них был Матвей Соргин, маленький светленький мальчик одиннадцати лет от роду. Он происходил из семьи крестьян средней руки, не богатой, но и не бедствующей, крестьян, выросших в первое некрепостное поколение. Они еще помнили свое детство, помнили, как их родители отработывали барщину у Меншиковых, как секли за провинности, помнили и объявление царского манифеста, почти разорившего их. Но мало-помалу хозяйство было восстановлено, крестьяне жили, простое крестьянское бытие шло своим чередом.

«В 1877 году от РХ Петр Соргин, крестьянин Тверской губернии, был венчан на Матрене Соломатиной, крестьянке Тверской губернии», – значилось в церковной метрике. А через год у них родился сын и назван был в честь деда Матвеем. Соргин Матвей Петров сын. Отец несказанно обрадовался рождению сына, а не дочери. «Помощник растет, – хвастался он жене и всем, – вот тогда заработаем. Вся волость, держись!» Но, вопреки мечтам и видению отца, Матвей никогда к крестьянскому труду особенного расположения не испытывал. Правда, Матюшу, как говорится, особенно никто и не спрашивал. Надо было по воду сходить – шел по воду, по ягоды – шел по ягоды, хвороста зимою натаскать – и хворост таскал. Но все это делалось как-то лениво – правда, к чести Матвея надо заметить, никогда не скверно, работу свою он выполнял правильно. Больше же всего Матвея привлекали книжки с картинками, хранившиеся у соседа – церковного настоятеля. Однажды отец Амвросий пригласил соседей на чай, зная, что они – люди хорошие, добрые, и вместе с ними пришел и их пятигодовалый сын. Взрослые, как ведется, заговорились о жизни, о ценах на зерно в этом году, о новом земском начальнике и обо всем о том, о чем взрослые говорят. А маленький Матюша загляделся на открытую книжку с картинками, лежащую на столе у хозяина. Отец Амвросий это заметил и рассказал о картинке, нарисованной на развороте. Там был изображен человек в бедной одежде, медленно и грустно бредущий в сторону богатого белого строения, а навстречу ему бежал пожилой человек с двумя молодыми людьми. То была притча о блудном сыне. Больше всего Матвея поразили маленькие значки на другой странице, и он с удивлением для себя обнаружил, что эти значки имеют важный смысл и по ним можно многое узнать. Ни отец его, ни мать грамотными не были, равно

как и их отцы и матери. Амвросий предложил соседям научить их сына грамоте и арифметике. Тут следовало все тщательно обдумать. Воспитывать троих детей было трудно, необходимо было терпение и особенное родительское чутье, чтобы всех троих – двух сыновей и дочь – приучить к работе, но если их старший сын обучится грамоте, то, может, и добьется чего более в жизни существенного. На том и порешили, пускай учится. Матвей проявил способность к учебе, потому что «любое дело, производимое с желанием, получается», – учил его отец Амвросий. Через год он уже свободно читал Священное Писание на гражданском и на церковнославянском. Еще через год знал основы латыни и умел производить в уме и на бумаге численные вычисления до тысячи со всеми четырьмя основными действиями. Так ему стукнуло семь лет, и родители отдали сына в местную школу, где помимо Матвея учился еще только один крестьянский ребенок – родители сельчан неохотно отдавали детей в школу, в семьях нужны были рабочие руки.

Таким образом, попал Матвей Петров Соргин в гимназию. Состав классов был совершенно для земской школы ординарный. Два крестьянских сына – один сын церковного дьячка, почему-то пошедший в гражданскую школу, а не в духовную семинарию, двенадцать из мещан и трое ребятшек – представителей беднейших слоев благородного сословия, не сумевших отдать свое чадо в привилегированное училище. Таким был класс, в котором уже четвертый год учился Матвей.

Школа была построена на земские деньги стараниями местных властей, радевших за высокий уровень образования. Здание школы стояло на отшибе села. Оно представляло собой деревянное срубленное строение о двух этажах. Учитель был немец, как это бывало среди земских учителей,

Карл Иванович Фриц. Типичный сын типичного немецкого бюргера, приехавшего в Россию еще при Николае. Карл Иванович был тогда еще ребенком, но даже в России, в провинции, Карлуша воспитывался в немецком бюргерском духе. Так он прожил некоторое время, не испытывая никакой тоски по исторической родине, и после жизни в столице он, как когда-то и его отец, провинциальный доктор, посвятил свою жизнь служению русскому народу. Свое же служение он видел в преподавании младшим классам основ наук. Помимо Карла Ивановича в младших классах работал еще только один учитель, раз в неделю читавший Слово Божие.

Матвей с раннего возраста был способным учеником, показавшим исключительную тягу к знаниям. Он оспаривал первое место по учению и по способностям с одним из тех дворян, учившихся с ним в классах, родители которого по дворянским меркам были разорены, но все равно затрачивали крупные средства на обучение их единственного сына, поскольку считали образование неотъемлемой частью дворянского сословия. Александр Каховцев был так же, как и Матвей, одиннадцати лет, высокий, темноволосый и дружил, в отличие от Матвея, имевшего хорошие отношения со всеми одноклассниками, только с дворянами.

Веселье, развернувшееся в классах, было вызвано одним чрезвычайно важным спором. Мальчики спорили о социализме в его самых разных проявлениях и ипостасях. Мальчики, в одиннадцать лет, говорящие о политике, – это Россия. Непонимание политики – она же.

Среди ребяташек был один из мещан, Сережа Марков, славившийся тем, что он знал когда-то одного, по его утверждениям, социалиста и даже однажды держал в своих руках настоящий номер «Колокола». Так вот, Сережа уверял своих сотоварищей, что социализм – это будущее не только

Европы, но и России, что землевладение должно быть общее у всех, а собственность на землю – пережиток прежних времен. Спор был в самом разгаре.

– Да как же это? – говорил один из его друзей-мещан, с удивлением обнаруживший, что его друг – социалист. – Марков, вы утверждаете, что России нужен социализм?

– Именно нужен, – с гордостью и твердо парировал Сережа, отнюдь не понимавший ничего не только в социализме, но и вообще во владении землей, – бесспорно нужен, как единственный путь развития нашей Отчизны.

– То есть, Сергей, – говорил Саша Каховцев, – сейчас или когда-нибудь, вы предлагаете всю землю поделить между всеми поровну?

– Боже вас, Александр, побереги...

– Как же, Боже? – спросил еще один мальчик, Миша Погорохин, – социалисты ведь не верят в Бога.

– Первое, Михаил, – холодно начал Марков, – вам бы следовало помолчать, пока вас не спрашивают. Второе, я еще не заверял, что я социалист, а третье, что бы я вам заметил, это бы очень не посоветовал разбирать каждое мое слово, тем более сказанное для красоты речи, чего вам, видимо, не понять.

Погорохин покраснел и замолчал, и больше ничего в классах не говорил: хотя Марков и не понимал ничего в социализме, он был убедителен. Достаточно для того, чтобы убедить мальчика.

– Ну так продолжим, – действительно продолжил Сережа, – разделение сейчас земли невозможно, поскольку не только наше, но и самые наипросвещеннейшие американские и европейские общества не готовы к такому перераспределению. Но, господа, прошу обратить ваше внимание на следующий факт, представленный еще классиками социализма, – разгорячился мальчик, – что, когда общество

изменится, а это, несомненно, произойдет, перераспределение земли будет возможно.

– Как же возможно, – опять начал говорить Саша Каховцев, – как же, Марков, возможно? Это значит, что я, потомственный дворянин, из семьи бывших помещиков, как и присутствующие тут из благородного сословия, мы... мы будем владеть земельными наделами совместно с семьей, допустим... – он замялся, – ну... ну, допустим, Соргина? – Каховцев завидовал Соргину, он понимал, что Матюша – мальчик крестьянский, а знает столько же, а может, даже и больше, чем он. Это злило, раздражало барчонка, воспитанного дворянами, с трудом пережившими реформы.

Последнее не могло не задеть Матвея, тем более что его самого это касалось самым прямым образом.

– Сашка, – начал было Матвей.

– Александр.

– Ладно, Александр. Так вот, Александр, негоже вам, как дворянину и барину, сравнивать со мною, у нас, может, и земли немного, но мы ее обрабатываем сами. Вопросы о социализме, ребята, просто не решаются. Но только думается мне вот что: делить-то землю, может, и действительно нельзя. Потому как издавна заведено, что есть дворяне и есть крестьяне, и нарушать порядок такой негоже. Что до социализма, то вроде как и замысел-то неплохой, что все общее, но *только* народ-то на это не согласится никогда – конечно, если его совсем не застрашать и не довести до последней стадии терпения. Ребята, народу, может, идея общих владений и прельстится поначалу, но все равно откажутся потом, так как тоже издавна еще заведено, что богатые есть и бедные, и вот если бедных и поболее будет, то сила-то еще у богатых, и, может, еще долго у богатых-то будет. Так я думаю. – Эта маленькая речь, сказанная с причудливым крестьянским говором тверичей, произвела на

мальчиков впечатление. Так бы они, может, и продолжали свои гуманитарные и разумные споры в пользу бедных, которые всегда тревожат умных мальчиков, собравшихся вместе, если бы не вернулся Карл Иванович.

– Так-с, господа, прошу начинать занятие. Приветствую, приветствую, – сказал он, когда дети встали у своих парт, – проведем переключку. – Карл Иванович говорил с жутким акцентом.

Дальше пошла переключка. Все дети оказались на месте.

– Вот и gut, – иногда учитель вставлял в свою речь характерные немецкие словечки, которые знают абсолютно все. А «вот и gut» было вообще его любимым высказыванием, и он вставлял его всюду, где только можно и нельзя, даже если дела шли и не совсем gut. За это Карла Ивановича некоторые детишки и прозвали господином Вотыгutom.

– Теперь давайте посмотрим, на чем остановилось наше изучение в прошлый урок. – Аха, – нашел он, – мы изучали с вами расположение небесных тел. Итак, кто может нам напомнить, как расположены небесные тела в Солярной системе?

В классе этот вопрос вызвал смятение. Мало кто учил это и повторял уроки. Но Матвей поднял руку.

– Да, да, Соргин, вы знаете? Так расскажите, пожалуйста, как в нашей системе расположены планеты.

– Меркурио, – смело начал Матюша, – Венус, Гея, или Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уранус и Нептун.

– Правильно. Gut, gut. Первые семь планет были известны с древнейших времен людям. Еще Архимед знал о них. Кто же открыл Уран и Нептун? Вопрос к классу.

Как и следовало ожидать, этот вопрос, еще труднее первого, также поверг класс в молчаливую, почти философскую задумчивость, хотя сомневаться, в общем, было не в чем, дети просто не знали ответа. В классе тянулись две руки.



– Лес рук, господа, я вижу лес рук. Всё же ответьте, кто открыл Уран и Нептун, господин Каховцев.

– Уран был открыт еще в осьмнадцатом столетии европейским астрономом Уильямом Гершелем. Нептун же был открыт по арифметическим исчислениям в 1846 году, а вот кем, я, Карл Иванович, не помню.

– Gut. Кто знает, кто же все-таки открыл этот загадочный Нептун? Господа, этот человек внес мировой вклад в развитие астрономии, а вы не знаете, кто он. Это не есть хорошо, – на немецкий манер заметил он, – имена таких людей надо знать. Может, нам опять ответит господин Соргин?

– Нептун был открыт астрономами Иоганном Галле и Генрихом д’Арре по расчету французского астронома Урбена Леверье... вроде бы.

– Gut! Gut, Мэтью, совершенно верно, и не вроде бы, а точно. Именно так все и было. Я знавал одного профессора, знакомого Иоганна Энке, под предводительством которого работали д’Арре и Галле. Он мне рассказывал, уже тогда совсем *grauhharig*, какую детскую и восторженную радость испытывал Энке. То ли подумать, господа, более чем через полвека после открытия Урана, когда почти сразу было замечено отклонение его орбиты мэтром русской астрономии Андреем Лекселем, ученые немецкой обсерватории открывают ту самую тайную планету, координаты которой были вычислены на бумаге. Невиданное дело, господа! Это как сбить муху над рекой, вычислив ее местоположение математически. Математически, великое дело! С помощью математики, господа, можно не только планеты открывать!

Ребятишкам нравилось, как учит Карл Иванович. Он действительно многое знал и умел рассказать это детям. Сам он, бывало, говаривал: «Если ученый не может объ-

яснить десятилетнему мальчику самую сложную научную теорию, то это schlecter ученый».

Классы длились полдня. Потом, после полудня, дети шли по домам. До летних вакаций оставалась еще неделя, и эта последняя неделя была посвящена зачетам и экзаменам, на которых проверялись знания школьников, полученные за год. Почти по всем предметам у Соргина были отличные оценки, лишь по русской словесности он получил «хорошо», поскольку даже сейчас, через три года учебы, никак не мог избавиться от своего говора, потому что просто любил его. Писал, однако, он грамотно, почти никогда не путал «Ъ» и «е» и мысль свою доносил в сочинениях всегда, как выражался Фриц, изрядно. Нравились Матвею и уроки богословия, он начал свое обучение со Священного Писания и уже довольно неплохо знал Божественный Закон, в этой дисциплине значительно оставляя позади своего главного соперника Каховцева.

Когда летние каникулы начались, родители, порадовавшись за своего *старшóго* сына, однако, объяснили ему, что в поле страда и семье нужны его руки, хотя он и сам прекрасно понимал, что лето значит для крестьянина. Чтобы облегчить заботы семьи, он даже устроился подпаском, за что ему, как свободному крестьянину, даже полагался оклад в 20 копеек за месяц. Матвей всегда брал с собою книгу, полученную у отца Амвросия. Он вообще набрал много книг для летнего прочтения, желая лучше подготовиться к пред-академическим классам. Он даже взял учебник латыни, но вскоре его забросил и читал стихи. Ему очень нравились стихотворения и некоторые из них заучил наизусть.

Однажды, а именно 1 июля того же года, он, как всегда, после рыбалки пришел домой к полудню пообедать. Пришедши домой, он увидел у родителей за столом Карла Ивановича. Родители с учителем пили чай, припасенный как

раз для гостей. Завидев в дверях Матвея, Фриц ласково сказал: «А, господин Соргин, да-да, проходите, я тут к вам по важному делу пришел». «Да, Матюх, заходи, Карл Иванович тебе должен сказать что-то важное», – пригласил отец, он был серьезен.

– Вот и gut. Итак, господин Соргин, – медленно начал Карл Иванович, и глаза его отчего-то стали грустными, – вчера министр просвещения господин Делянов направил, а Его Императорское Величество подписал один указ, как бы вам сказать, да вы присаживайтесь, господин Соргин, присаживайтесь, – Матюша сел, – один циркуляр... вносящий некоторые коррективы в государственные законы об образовании. Этот циркуляр, он... он предписывает ограничить в обучении некоторые категории подданных России, в частности, – он запинался, – в частности и вас. Мы и раньше-то нарушали закон, оформив вас как сына лавочника, позволило это сделать только то, что ваша семья не из крестьянской общины, а живет обособленным частным хозяйством. Да зачем вам вникать во все эти тонкости... Это далеко не значит, что вам нельзя более продолжать учиться... нет, не думайте, что это приговор какой-нибудь вам, тем более у вас есть и таланты к образованию, но, – тут ему особенно тяжело стало говорить, акцент, если бы не привычка Матвея понимать речь учителя, сделал бы предложения Карла Ивановича крайне труднопонимаемыми, – вы вполне сможете продолжить получать образование, но несколько... несколько другого рода, если вы, конечно, захотите. Вам всегда будут открыты двери духовной семинарии, в которую по-прежнему будут принимать детей крестьян, а после, возможно, даже и получение высшего академического образования, хотя бы в Киевской духовной академии, если вы пожелаете.

Матвей не по-детски серьезно посмотрел на учителя:

– Спасибо, Карл Иванович, – начал он, – я все понял. Я благодарен вам, что вы сообщили мне. Мы, крестьяне, люди подневольные, и как сказано, так и будет. Спасибо.

Карл Иванович встал, поблагодарил Соргиных за чай, попрощался и ушел.

– Ну чего, Матюх, – спросил отец, – ты чего, сильно расстроился, что ли? Да ладно тебе, а пахать кто будет? Ну хочешь, сынок, хочешь, и в семинарию пойдешь, тоже ведь образование, а потом видишь куда, в Киев! Хочешь? Ну не молчи, Матюха, ну чего ты, так распереживался, что ли? А этот учитель, он хороший человек, да? Вроде неплохой, ему тоже, – он осекся, – ему жалко, как быть, что нельзя учиться просто.

– Как он сказал, – спросил неожиданно Матвей, – Делянов?

– Министр-то этот? Вроде Делянов.

– Делянов...

– Да ладно тебе, ну чего он, министр и министр, ну нельзя больше в гимназиях учиться, и раньше такого не было, никто и не учился, и хорошо жили, и даже неплохо, а это уж потом образование деревенским-то, сельчанам то бишь, давать стали, а раньше и не было никогда такого. Ну, сынок, ну чего ты, сильно расстроился?

– Не пойду в семинарию, не надо.

Весь остаток дня он был чрезвычайно серьезен. Сидел на завалинке, даже не читал, тем более не играл с деревенскими ребятами, а все о чем-то думал.

# 1901

Марта родилась в первый день века. Крошащаяся, как песочное печенье, Австрийская империя была ее колыбелью и ее первым домом. Она воспитывалась в одной из самых знатных семей Вены, в доме Иффэ. Все детство Марта провела под музыку Джоаккино Россини. В доме Иффэ, вопреки вкусам общества, не любили всех великих австрийцев. *Papa* считал Моцарта чересчур демократичным. Ему нравилась изысканность переливов Россини. Бетховена в семье не слушали, он казался *papa* Марты слишком северным. Доницетти, Скарлатти (но только португальского своего периода), Верди, Пуччини. Они слушали итальянцев. И Марта всегда была благодарна *papa* за это. Камерный оркестр Иффэ исполнял арии так, что послушать виртуозную игру в дом приходили все представители благородного сословия Австрии. Но благодарность Марты отцу имела другую причину. По прошествии многих лет ей казалось, что в детстве необходимо слушать именно итальянцев. Ничто так не воспитывает слух и вкус, как итальянская классика. Она любила музыку. И так же она будет воспитывать свою дочь. Она была в этом уверена.

Кроме всего остального, она помнила, чего у нее тогда было очень много. Времени. Время наполняло ее жизнь бесконечно, безмерно, и она думала, что так у всех. В отличие от многих, не так поздно она поняла, что очень ошибалась. Тогда время для нее стало валютой, которую невозможно разменять, невозможно купить, невозможно продать. Время – это деньги, которые можно только тратить, в самом начале своей жизни она тратила их бездумно.

Она прекрасно помнила парадные мундиры гостей. У *рара* был в гостях весь цвет австрийской военной и штатской аристократии. С детства она знала, что такое балы. Для нее все это были игрушки. Блестящие, как стекло, и снег, и лед на Рождество. У семьи был замок, почти дворец, в Альпах, *рара* выкупил его у какого-то разорившегося сумасшедшего баварца. До шести лет, пока Марте не исполнилось семь, Иффэ ездили туда каждое Рождество. Потом, со смертью *татап* Марты, они перестали бывать там. От *татап* у нее остались совсем детские, самые теплые и самые нереальные воспоминания. Она помнила, что на похоронах плакала. Помнила, как за одну ночь поседел *рара*. Больше ничего. *Матап* осталась одним фиолетовым пятном в ее жизни, она очень любила лиловый цвет, всегда одевалась в платья лилового, темно-сиреневого цвета. Но у нее сохранились черно-белые фотографии. Мама была очень красивой, но Марта совсем на нее не похожа. Фотографии ее и *рара* долгое время стояли у нее на столе. Это все, что осталось ей от родителей.

Тогда же, в детстве, она полюбила поезда. Иффэ все вместе много путешествовали по Европе на первых трансъевропейских паровозах. До десяти лет Марта побывала в Англии, Германии, Дании, Швеции, во Франции, была в Гельвеции, они жили в лучшем отеле, самом роскошном номере. Это было за год до того, как умерла *татап*. Ей пять

лет. Она помнила бесконечную метель и тепло гельвецких ресторанов. Седые мужчины, здоровающиеся с *rara*, картинность происходящего. Марта считала, что, преимущество памяти над фотографиями заключается в том, что, насколько бы фотографии реалистичны ни были, нет никакого доказательства, что то, что на них изображено, – было. А память дает это. Поэтому она любила поезда, они сохраняются в памяти, как истинный штрих действительности. Они – первая и последняя аксиома доказательности путешествия. Самолеты не дают этого ощущения. Летать из Осло в фавелы – значит нарушать естественную ткань событий. Впрочем, из Осло не попадешь в Рио-де-Жанейро иначе.

Марта никогда не была капризным ребенком, ее детство, как период становления в жизни, был сопряжен с ощущением твердости поведения, сдерживания эмоций. Несмотря на Россини и Доницетти, она получила чистейшее немецкое воспитание. У нее были подруги, капризные фрейлины кайзера. Марта видела, как мучаются с ними матери, но не помнила, чтобы *tatan* не спала ночами, вставала, убаюкивала. Воле она подчинила свое поведение и прожила так всю жизнь, и именно поэтому воля – единственное, чему она подчинялась.

Пока она жила в атмосфере австрийской сказки, она не знала, не могла знать, что происходит в мире. Когда Иффэ ездили в Санкт-Петербург, Марта не знала, что в это самое время Ульянов, в нескольких километрах от того отеля, где они жили с *tatan* в Гельвеции, падал в голодной обморок. Путешествуя, Иффэ переносили свою сказку с собой. И она до конца жизни не могла ответить на вопрос, благодарить ли ей родителей за это или нет.

Она помнила, как изменили свою суть слова. И дело не во взрослении, конечно. Дело во времени. Оно стало другим.

Когда Марте исполнилось четырнадцать, слова «семья», «справедливость», «истина» поменяли значение. Изменился смысл слов «честь», «долг». И одно слово стало самым главным. «Война». Это она помнила очень хорошо. Тогда закончилась сказка.

Умиравшая Австрия реквизировала у Иффэ почти все, а *rara* ушел на войну. Он был военным, это дань традициям, все мужчины в семье Иффэ были военными. Он был и будет последним. *Rara* уехал на войну, когда ей было пятнадцать, до этого он работал в штабе Вены, Марта осталась одна. Уезжая, он поцеловал ей руку, сказал, что она уже большая девочка и что он доверяет ей. Эти слова о доверии – последнее, что она от него услышала. Больше они не виделись. В ее семнадцать он был в Капоретто. Генерал Иффэ умер где-то на северном берегу реки Пьяве. Марта не знала тогда, как это произошло, а после ей было тяжело об этом вспоминать. С семнадцати лет ей говорили, что *rara* умер героем.

В ее восемнадцать рухнула корона, и она одна переехала в Германию. Почему она так поступила? На это не так просто ответить, как кажется. Марта была уверена, что во вселенной есть две силы: созидания и разрушения. Она познала истинный характер их взаимодействия позднее, но тогда она была юна, и все, что у нее было, – стремление к созиданию. Ей казалось, что каждый человек в этом мире – проводник одной из этих сил: созидательной или разрушительной. И он стремится к своей силе. Марта стремилась к созиданию. Как и многим тогда, ей было ясно, что рейхсрат канет в Лету вместе с короной Святого Стефана. Но она знала, что, несмотря на все, Германия выдержит. Тогда она еще не могла предвидеть, что Германия умрет позже и от гораздо более страшного врага, чем война. Имя этому врагу – человеческое заблуждение. Оно сожжет Германию в печах Брайтенау.



Ее Германия не была насыщенной, но была живой. Это был первый и последний период в ее жизни, когда она скрывала свою фамилию. Марта нашла работу, благодаря которой могла не только прокормить себя, но и снимать жилье в центре Берлина. Это был ее первый рабочий опыт, и за следующие восемь лет она сделала, наверное, самую успешную карьеру в послевоенном Берлине. Она не любила описывать свои отношения с мужчинами в то время, несмотря на брак, они не представляли никакой интеллектуальной или эмоциональной ценности, и она знала это. Гораздо больше для нее значила музыка. Впервые Марта услышала Симфонию № 9 Бетховена неприлично поздно, в двадцать три года. Но она никогда никого за это не винила. Марта была уверена, только в это время можно было понять такую музыку. Никогда до и никогда после она не звучала так актуально. Тогда, в 23-м, она почти знала, что «Оду к радости» возьмут своим гимном европейские сообщества. Она знала, что ее будут слушать в Рейхе. И очень хорошо понимала Бетховена. Кто еще мог музыкой показать становление и падение идеи? Она бы не смогла понять этого, если бы не начинала свое детство со Скарлатти и Верди.

Говорят, что каждая судьба человека – это набор случайностей, неопределяемый, индетерминантный вероятностный выбор. Марта знала, что это не так. И в снегу Рождества над Альпами, если очень хорошо присмотреться, можно увидеть фиолетовый песок закатного Эрматра. Случайностей не существует. Как будут говорить позднее, «если вы видите случайность – проверьте свои исходные положения». Это всегда значит, что вы заблуждаетесь.

# СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЛОГ. (СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ) .....	7
212 ВС .....	9
... ..	15
ЧАСТЬ I. (ЧИСЛИТЕЛЬ) .....	25
1885 .....	27
1888 .....	34
1901 .....	45
1905 .....	50
1906/1917 .....	56
1908 .....	69
1920 .....	84
1922 .....	92
1924 .....	99
1924 .....	106
1926 .....	111
1929 .....	118
1932 .....	123
1932 .....	133
1933 .....	142
1933 .....	147
1935 .....	150
1936 .....	161
1937 .....	167

1938 .....	174
1938 .....	179
1939/1977 .....	189
1941/1942 .....	195
1944 .....	200
1946 .....	207
<b>ЧАСТЬ II. (ЗНАМЕНАТЕЛЬ)</b> .....	<b>217</b>
.....	219
1959/1964 .....	227
1968 .....	240
1972 .....	246
1974/1975 .....	256
1976 .....	264
1976 .....	271
1979/1989 .....	276
1980/1933 .....	285
1982/2003 .....	293
1983/.....	300
1986 .....	305
1989 .....	308
1989 .....	316
1991 .....	322
1992 .....	328
1993 .....	337
1996 .....	341
<b>ЧАСТЬ III. (РАВЕНСТВО)</b> .....	<b>347</b>
1925/.....	349
2001 .....	363
2013 .....	367
2014 .....	376
2014 .....	382
2014/.....	388
2018/2014 .....	393
2022 .....	398
2035 .....	410
2035 .....	413
2035/1975/.....	419
<b>БЛАГОДАРНОСТИ</b> .....	<b>428</b>

*Литературно-художественное издание*

**ОРЕХОВ ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ**

# **ХРОНИКИ ЭРМАТРА**

РОМАН

*Дизайн обложки: Анна Ульяшина*  
*Корректоры В. А. Нэй, О. В. Круподер*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 16.01.2015 г.  
Формат 76×108/32. Гарнитура «CharterС».  
Печ. л. 13,5. Заказ №

**ООО «Издательство «Этерна»**  
115477, г. Москва, Кантемировская ул., д. 59а  
Тел./факс (495) 755-81-23

Е-mail: [info@eterna-izdat.ru](mailto:info@eterna-izdat.ru)  
[www.eterna-izdat.ru](http://www.eterna-izdat.ru)